

Николай Лесков

Смех и горе



Николай Лесков

Смех и горе

«Public Domain»

1871

Лесков Н. С.

Смех и горе / Н. С. Лесков — «Public Domain», 1871

Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	7
Глава третья	8
Глава четвертая	11
Глава пятая	14
Глава шестая	15
Глава седьмая	16
Глава восьмая	18
Глава девятая	20
Глава десятая	22
Глава одиннадцатая	23
Глава двенадцатая	24
Глава тринадцатая	27
Глава четырнадцатая	28
Глава пятнадцатая	29
Глава шестнадцатая	30
Глава семнадцатая	32
Глава восемнадцатая	33
Глава девятнадцатая	34
Глава двадцатая	36
Глава двадцать первая	38
Глава двадцать вторая	39
Глава двадцать третья	40
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Николай Лесков

Смех и горе

Глава первая

Свежий мартовский ветер гулко шумел деревьями большого Таврического сада в Петербурге и быстро гнал по погожему небу ярко-красные облака. На дворе было около восьми часов вечера; сумерки с каждой минутой надвигались все гуще и гуще, и в небольшой гостиной опрятного домика, выходявшего окнами к одной из оранжерей опустелого Таврического дворца, ярко засветилась белая фарфоровая лампа, разливавшая тихий и ровный свет по уютному покою. Это было в одном дружеском семействе, куда я, дядя мой Орест Маркович Ватажков и еще двое наших общих знакомых только что вернулись с вербного базара, что стоит у Лазаревой субботы у Гостиного двора. Мы все пришли сюда прямо с этого базара и разговорились о значении праздничных сюрпризов.

Семейный дом, в котором мы собрались, был из числа тех домов, где не спешат отставать от заветных обычаев. Здесь известные праздничные дни отличаются от простых дней года всеми мелочами, какими отличались эти дни у отцов и дедов. Тут непременно поздний обед при звезде накануне Рождества; кутья по Предтече в Крещенский сочельник; жаворонки детям 9 марта, а в воскресенье пред Страстной неделей вербные подарки. Последние обыкновенно состояли из разных игрушек и сюрпризов, которые накануне с вечера закупались на вербном базаре у Гостиного двора и рано утром подвешивались на лентах под пологам детских кроваток. Каждый подарок украшался веткою вербы и крылатым херувимом... Дети были уверены, что вербные подарки им приносит сам этот вербный херувим или, как они его называли, «вербный купидон».

Об этих подарках и зашла теперь речь: все находили, что подарки – прекрасный обычай, который оставляет в детских умах самые теплые и поэтические воспоминания; но дядя мой, Орест Маркович Ватажков, человек необыкновенно выдержанный и благовоспитанный, вдруг горячо запротиворечил и стал настаивать, что все сюрпризы вредны и не должны иметь места при воспитании нигде, а тем паче в России.

– Потому, – продолжал дядя, – что здесь и без того что ни шаг, то сюрприз, и притом самый скверный; так зачем же вводить детей в заблуждение и приучать их ждать от внезапности чего-нибудь приятного? Я допускаю в виде сюрприза только одно – сечь ребенка.

Все переглянулись; кое-кто улыбнулся.

– Это и понятно, что Оресту Марковичу неприятно говорить о детях и о детстве, сказала хозяйка. – Старые холостяки не любят детей.

– Опять должен вам возражать, – отвечал дядя. – Хотя я уже и действительно в таких летах, что не могу обижаться именем старого холостяка, но тем не менее детей я люблю, а сюрпризы для них считаю вредными, потому что это вселяет в них ложные надежды и мечтания. Надо готовить детей к жизни сообразно ожидающим их условиям, а так как жизнь на Руси чаще всего самых лучших людей ни зб что ни пручу что бьет, то в виде сюрприза можно только разве бить и наилучших детей и то преимущественно в те дни, когда они заслуживают особой похвалы.

– Вы чудачествуете, Орест Маркович?

– Нимало: вербные купидоны для меня, как и для ваших детей, еще не перешли в область прошедшего, и я говорю о них даже не без замиранья сердца.

– Это шутка?

– Нисколько. Что за шутка серьезными вещами.

– Так это история?

– Даже несколько историй, если вам угодно: лучше сказать, это такое же potpourri¹ из сюрпризов, как бывает potpourri из песен.

– И вы, может быть, будете так любезны, что расскажете нам кое-что из вашего potpourri?

– Охотно, – отвечал мой дядя, – тем более, что здесь и тепло, и светло, и приятно, и добрые снисходительные слушатели, а мое potpourri варьировано на интереснейшую тему.

– А именно?

– А именно вот на какую: все полагают, что на Руси жизнь скучна своим однообразием, и ездят отсюда за границу *развлекаться*, тогда как я утверждаю и буду иметь честь вам доказать, что жизнь нигде так не преизобилует самыми внезапнейшими разнообразиями, как в России. По крайней мере я уезжаю отсюда за границу именно *для успокоения* от калейдоскопической пестроты русской жизни и думаю, что я не единственный экземпляр в своем роде.

– Орест Маркович! Мы вас слушаем.

– Милостивые государи! Я повинуюсь и начинаю.

¹ Попурри – *Франц.*

Глава вторая

Большинству здесь присутствующих обстоятельно известно, что я происхожу из довольно древнего русского дворянского рода. Я записан в шестую часть родословной книги своей губернии; получил в наследство по разным прямым и боковым линиям около двух тысяч душ крестьян; учился когда-то и в России и за границей; служил неволею в военной службе; холост, корнет в отставке, имею преклонные лета, живу постоянно за границей и проедаю там мои выкупные свидетельства; очень люблю Россию, когда ее не вижу, и непомерно раздражаюсь против нее, когда живу в ней; а потому наезжаю в нее как можно реже, в экстренных случаях, подобных тому, от которого сегодня только освободился. Я рассказываю вам все очень подробно и не утаиваю никаких мелочей моего характера, эгоистического и мелкого, не делающего мне ни малейшей чести. Я знаю, что вы меня за это не почтите вашим особенным вниманием, но я уже, во-первых, стар, чтобы заискивать себе чье-нибудь расположение лестью и притворством, а во-вторых, строгая истина совершенно необходима в моем полуфантастическом рассказе для того, чтобы вы ни на минуту не заподозрили меня во лжи, преувеличениях и утайках.

В воспитании моем есть что-то необыкновенное. Я русский, но родился и вырос вне России. Должность родных лип, под которыми я впервые осмотрелся, исправляли для меня южные каштаны, я крещен в воде итальянской реки, и глаза мои увидели впервые солнце на итальянском небе. Родители мои постоянно жили в Италии. Отец мой не был изгнанник, но тем не менее север был для него вреден, и он предпочитал родине чужие края. Мать моя тосковала по России и научила меня любить ее и стремиться к ней. Когда мне минуло шесть лет, стремлению этому суждено было осуществиться: отец мой, катаясь на лодке в Генуэзском заливе, опрокинулся и пошел как ключ ко дну в море. После этой потери юг утратил для нас с матерью свое значение, и мы потянулись с нею на север. Мне о ту пору было всего восемь лет. Тогда и по Европе еще сплошь ездили в дилижансах, а у нас плавали по грязи.

Я не помню уже, сколько дней мы ехали до Петербурга, сколько потом от Петербурга до Москвы и далее от Москвы до далекого уездного города, вблизи которого, всего в семи верстах, жил мой дядя. Эта продолжительная и утомительная поездка, или, вернее сказать, это плавание в тарансах по грязи, по тридцати верст в сутки на почтовых, останется вечно в моей памяти. Я как будто вчера еще только отбыл эти муки, и у меня даже еще ноют при всяком движении хрящи и ребра. Я поистине могу сравнивать это странствование с странствованиями Одиссея Лаэртида. Приключения были чуть не на каждом шагу, и покойница матушка во всех этих приключениях играла роль доброго гения.

Глава третья

Благие вмешательства моей матери в судьбы странников начались с первого же ночлега по петербургскому шоссе, которое существует и поднесь, но о котором все вы, нынешние легкие путешественники, разумеется, не имеете никакого понятия. Железные дороги – большое препятствие к изучению России, я в этом положительно уверен; но это а propos...² Как сейчас помню: теплый осенний вечер; полоска слабого света чуть брезжится на западе, и на ней от времени до времени вырезаются силуэты ближайших деревьев: они все казались мне солдатами, и я мысленно сравнивал их с огненными мужичками, которые пробегают по сгоревшей, но не истлевшей еще бумаге, брошенной в печку. Я любил, бывало, засматриваться на такую бумагу, как засмотрелся, едучи, и на полосу заката, и вовсе не заметил, как она угасла и как перед остановившимся внезапно экипажем вытянулась черная полоса каких-то городуллек, испещренных огненными точками красного цвета, отражавшегося длинными и острыми стрелками на темных лужах шоссе, по которым порывистый ветер гнал бесконечную рябь. Это был придорожный поселок, станция и ночлег. Борис Савельич, старый и высокий, с седым коком лакей, опытный путешественник, отряженный дядею в наши провожатые и высланный нам навстречу в Петербург для сопровождения нас в заветную глубь России, соскочил с козел и отправился на станцию. Я видел, как его грандиозная, внушающая фигура в беспредельной, подпоясанной ремнем волчьей шубе поднялась на крыльцо; видел, как в окне моталась тень его высокого кока и как потом он тотчас же вышел назад к экипажу, крикнул ямщику: «не смей отпрягать» и объявил матушке, что на почтовой станции остановиться ночевать невозможно, потому что там проезжие ремонтеры играют в карты и пьют вино; «а ночью, – добавлял наш провожатый, – хотя они и благородные, но у них наверное случится драка». Матушка страшно перепугалась этого доклада и тотчас же сдалась на предложение Бориса Савельича отъехать на постоянный двор к какому-то Петру Ивановичу Гусеву, который, по словам Бориса, был «отличнейший человек и имел у себя для проезжающих преотличные покои».

Двор этого отличнейшего человека был всего в двух шагах от станции, и не успел Борис командовать: «к Петру Ивановичу», как экипаж наш свернул с шоссе налево, прокатил по небольшому мостику через придорожную канаву и, проползая несколько шагов по жидкой грязи, застучал по бревенчатому помосту под темными сараями крытого двора. Посредине этого двора, под высокими стропилами, висел на перекинутой чрез блок веревке большой фонарь, ничего не освещавший, но глядевший на все, точно красный глаз кикиморы. В непроглядной тьме под сараями кое-где слышались человеческие голоса и то тихий стук конских зубов, жевавших овес, то усталое лошадиное отпырхивание.

Матушка и моя старая няня, возвращавшаяся с нами из-за границы, высвободившись из-под вороха шуб и меховых одеял, укутывавших наши ноги от пронзительного ветра, шли в «упокоей» пешком, а меня Борис Савельич нес на руках, покинув предварительно свой кушак и шапку в тарантасе. Держась за воротник его волчьей шубы, я мечтал, что я сказочный царевич и еду на сказочном же сером волке.

«Упокоев», которыми соблазнил нас Борис, к нашим услугам, впрочем, не оказалось. Встретившая нас в верхних сенях баба, а затем и сам Петр Иванович Гусев – атлетического роста мужчина с окладистой бородой – ласковым голосом и с честнейшим видом объявил нам, что в «упокоях» переделываются печи и ночевать там невозможно, но что в зале преотлично и чай кушать и опочивать можно на диванах.

– А барчуку, – добавил он, указывая на меня, – мы смостим два креслица и пуховичок подкинем.

² Кстати – Франц.

Мать решила, что это прекрасно и, взяв с хозяина слово, что он в залу уже никого, кроме нас, не пустит, велела подать самовар. Последнее распоряжение матушки тотчас же вызвало со стороны Бориса осторожное, шепотом выраженное замечание, что, мол, этак, не спросивши наперед цены, на постоялом дворе ничего спрашивать невозможно.

– Хотя это точно, – говорил Борис, – что мы с вашим братцем всегда останавливаемся у Петра Ивановича, и он обижать нас по-настоящему не должен, ну а все же правило того требует, чтобы спросить.

Борис Савельич был из числа тех крепостных людей, выросших в передней господского дома, для которых поездки, особенно дальние поездки в столицы, в Москву или Петербург, составляли высшее удовольствие. В этих поездках он мог щеголять своею опытностью, знанием света, тонким пониманием людей и вообще такими сведениями, каких при обыкновенном течении жизни ему показать было некому да которых от него в обыкновенное время никто и не спрашивал. Все, что он ни делал в дороге, – все это он делал как бы некое священнодействие, торжественно, величественно и притом с некоторым жреческим лукавством.

В большой комнате, которую мы для себя заняли, Борис Савельич тотчас же ориентировал нас к углу, где была тепло, даже жарко натопленная печка. Он усадил меня на лежанку, матушку на диван и беспрестанно прибегал и убегал с разными узлами, делая в это время отрывочные замечания то самому дворнику, то его кухарке, – замечания, состоявшие в том, что не вовремя они взялись переделывать печки в упокоях, что темно у них в сенях, что вообще он усматривает у них в хозяйстве большие нестроения.

Затем Борис убегал снова и снова возвращался с корзинками, в которых были припасенные в дорогу папушники и пирожки. Все это было разложено на печке, на чистой бумаге, и Борис Савельич, разбирая эту провизию, внушал матушке, что все это надо кушать, а у дворника ничего не брать, потому-де, что у него все очень дорого.

– Я про ужин для себя полюбостыствовал, – говорил Борис, – да полтину просит, так я ему в глаза и плюнул.

Матушку такая резкость смутила, и она поставила это Борису на вид; но тот только махнул рукой и отвечал, что с торговым человеком на Руси иначе обходиться невозможно.

– Их, матушка! – уверял он, – и поп, когда крестит, так в самое темя им три раза плюет.

Это меня очень заинтересовало, и я снова замечтался, как это производится указанная Борисом процедура, а между тем был подан самовар; я выпил одну чашку, почувствовал влечение ко сну и меня уложили на той же теплой лежанке. Матушка расхаживала по комнате, чтобы размять ноги, а Борис с нянькою сели за чай; они пили очень долго и в совершенном молчании. Я, потягиваясь на лежанке, все наблюдал, как моя нянька краснела и, как мне казалось, распухала. Она мне тогда представлялась белой пиявкой, каких я, впрочем, никогда не видал; я думал: вот еще, вот еще раздуется моя няня и хлопнет. И точно, старуха покраснела, раздулась, расстегнула даже платок на груди и отпала. Но Борис Савельич упорно оставался один за столом. Он сидел прямо, как будто проглотил аршин, и наливал себе мерно стакан за стаканом с очевидным непреложным намерением выпить весь самовар до последней капли. Он не раздувался и не краснел, как няня, но у него зато со всяким хлебком пристрашно выворачивались веки глаз и из седого его чуба вылетал и возносился легкий пар. Мне очень хотелось спать, но я не мог уснуть, потому что все мною наблюдаемое чрезвычайно меня занимало. Это была *она*, моя заветная, моя долгожданная Россия, которую я жаждал видеть ежесекундно. Она была в этой бесприютной комнате, в этом пузатом самоваре, в этом дымящемся чубе Бориса...

Но наблюдениям моим готов был и иной материал.

Среди таких занятий нашей компании, о которых я рассказываю, под окнами послышался шум от подъехавшего экипажа и вслед за тем стук в ворота и говор. Няня взглянула в окно и сказала:

– Шестерная карета!

– Ну, как приехали, так и уедут, – отвечал ей Борис, – останавливаться негде.

Но в эту минуту на пороге явился умильный Петр Иванович и с заискивающей, подобострастною улыбкою начал упрашивать мать во что бы то ни стало позволить напиться чаю в нашей комнате проезжей генеральше. Борис Савельич окрысился было за это на дворника как пес Дагобера, но, услышав со стороны матери предупредительное согласие, тотчас же присел и продолжал допивать свой чай и дымиться. Я имел черт знает какое возвышенное понятие о русских генералах, про которых няня мне говорила дива и чудеса, и потому я торжествовал, что увижу генеральшу.

Глава четвертая

В комнату нашу вошла большая, полная, даже почти толстая дама с косым пробором и с мушкой на левой щеке. За ней четыре барышни в ватных шелковых капотах, за ними горничная девушка с красивым дорожным ларцом из красного сафьяна, за девушкой лакей с ковром и несколькими подушками, за лакеем ливрейным лакей не ливрейный с маленькою собачкой. Генеральша, очевидно, была недовольна, что мы заняли комнату, прежде чем она накушалась здесь своего чаю.

Она извинялась перед матушкой, что побеспокоила ее, но извинялась таким странным тоном, как будто мы были перед нею в чем-то виноваты и она нас прощала. Матушка по своей доброте ничего этого не замечала и даже радовалась, что она может чем-нибудь услужить проезжим, вызывалась заварить для них новый чай и предложила дочерям генеральши наших отогретых пирожков и папушников. Но генеральша отклонила матушкино хлебосольство, объяснив, все в том же неприступном тоне, что она разогретого не кушает и чаю не пьет, что для нее сейчас сварят кофе в ее кофейнике, а пока... она в это время обратилась к Петру Ивановичу и сказала:

– Послушай, мужик, у тебя есть что-нибудь завтракать?

– Матушка, – отвечал, выгибаясь, Петр Иваныч, – у меня сию минуту индюк в печи сидит, – на станцию для ремонтеров жарил, да если твоей милости угодно, мы тебе его подадим, а они подождут.

– Давай, – приказала генеральша.

Наш Борис тряхнул чубом и еще с большим ожесточением стал глотать остывающий чай. И мне и Борису показалось, что генеральша приказала подать индюка единственно затем, чтоб унижить этим нас, занимавших в комнате лучшее место, но скромно подкреплявшихся чаем и разогретыми пирожками. Все мы были немало переконфужены этим начинавшим подавлять нас великосветским соседством и нетерпеливо ждали появления индюка, в надежде, что вслед за тем гости наши покушают и уедут.

Наконец, явился и он. Как теперь его помню: это был огромный, хорошо поджаренный, подрумяненный индюк на большом деревянном блюде, и в его папоротку был артистически воткнут сверкающий клинок большого ножа с белой костяною ручкой. Петр Иванович подал индюка и, остановясь, сказал:

– Прикажете раскроить?

– Нет, пожалуста, пожалуста... твоих услуг не надо, – отвечала генеральша.

Петр Иванович, не конфузясь, отошел в сторону.

На столе запылал кофейник, и генеральша обратилась к дочерям с вопросом, чего кому хочется. Ни одной не хотелось ничего. Надо помнить, что это были те времена, когда наши барышни считали обязанностью держаться неземными созданными и кушали очень мало, а потому генеральша только и могла отрезать от индюка одно крылышко. Это крылышко какая-то из девиц подержала в руках, покусала и бросила на тарелку. Затем лакей доложил, что карета готова, и чопорные гости стали собираться. Но тут произошла престранная история, впервые поколебавшая мое высокое понятие о генеральшах.

Петр Иванов явился с огромными счетами, начал выкладывать за теплоту и за светлоту и вдруг потребовал за жареного индюка семнадцать с полтиной (конечно на ассигнации).

Генеральша так и вскипела.

– Чту ты, чту ты! Да где же это за индюка семнадцать с полтиной? Этак и за границей не дерут.

– Нам, сударыня, за граница не указ; мы свой расчет держим.

– Да мы твоей индюшки и не съели: ты сам видишь, я одно крылышко от неё отломила.

– Как вам угодно, – отвечал Петр Иванов, – только я ее теперь никому подать не могу. Как у нас русский двор, то мы, сударыня, только целое подаем, особенно ремонтерам, потому как это господа всегда строгие.

– Ах, какой же ты мошенник! – закричала генеральша.

Петр Иванов просил его не порочить.

– Нет, скажите Бога ради, мошенник он или нет? – обратилась генеральша заискивающим тоном к моей матери.

Мать промолчала, а Петр Иванов положил на стол счета и вышел.

– Я не заплачу, – решила генеральша, – ни за что не заплачу, – но тут же и спасовала, потому что вошедший лакей объявил, что Петр Иванов не выпускает его с вещами к карете.

– Ах, боже мой, разве это же можно? – засуетилась генеральша.

– Торговаться вперед надо, – отвечал ей поучительно Борис.

– Но, мой друг, пойди, уговори его. Вы позволите?

Мать позволила, Борис пошел, долго кричал и вернулся с тем, что менее пятнадцати рублей не берет.

– Скажите, что же мне делать? – засуетилась снова генеральша.

Мать моя, зевая и закрывая рот рукою, отвечала генеральше по-французски, что надо заплатить, и добавила, что с одного ее кузена на Кавказе какие-то казаки на постоянном дворе потребовали пять рублей за пять яиц и, когда тот не хотел платить, заперли его на дворе.

– Неужели это может быть и со мною? – воскликнула генеральша и, заливаясь слезами, начала упрашивать Петра Иванова об уступке, но Петр Иванов из пятнадцати рублей не уступил ни одной копейки, и деньги эти ему были заплачены; генеральша, негодующая и заплаканная, стала прощаться, проклиная Русь, о которой я слышал за границей одни нежные вздохи.

– Возьмите же по крайней мере с собою этого индюка: он вам пригодится, – сказала моя мать генеральше.

Растерянная генеральша с радостью согласилась.

– Да, да, – заговорила она, – конечно, жаркое пригодится.

И с этим ее превосходительство, остановив за руку Петра Иванова, который хотел унести индюка, сказала ему:

– Позволь, позволь, батюшка: ты деньги получил, а индюк мой. Дай мне сахарной бумаги, чтобы завернуть.

Петр Иванов отказал, но мать встала с своего места, пересыпала рубленый сахар из бумажного картуза в холщовый мешочек и передала ее Борису, который тут же мастерски увернул индюка и вручил его непосредственно самой генеральше. Встреча с этою гордою дамой, ее надутый вид и метаморфозы, которые происходили с нею в течение нескольких минут, были для меня предметом немалого удивления.

С этих пор я при виде всякого земного величия постоянно не мог отучиться задавать себе вопрос: а как бы держало себя это величие пред индюком и запертыми воротами?

Это невинное событие преисполнило юную душу мою неулегающимися волнами сомнения и потом во многих случаях моей жизни служило мне соблазном и камнем преткновения, о который я спотыкался и довольно больно разбивал себе нос.

Тотчас по отъезде генеральши в нашей компании начались на ее счет самые злые насмешки, из чего я тогда же вывел для себя, сколь невыгодно выходить из собрания первым, а не последним. Из этой же беседы мне впервые уяснилось, что такое называется чванством, фанфаронством и другими именами. Но в конце этого разговора матушка, однако, обратила Борисово внимание на то, что хорош же, мол, однако, и твой Петр Иванов, – какой он мошенник! – Борис по этому поводу пустился в бесконечные рассказы о том, что придорожному человеку, а тем более дворнику никогда верить нельзя, будь он хоть самый честнейший чело-

век, ибо на больших дорогах... Тут он начал рассказывать разные страсти, слушая которые я заснул.

Глава пятая

Вслед за этим я как сейчас помню небольшую почтовую станцию в Нижегородской губернии, где мы натолкнулись на другую престранную историю. Это было во второй половине нашего путешествия, которое мы уже два дня совершали гораздо лучше, потому что на землю выпал густой снег и стал первопуток. Мы бросили в каком-то городишке наш тарантас и ехали теперь в кибитке на полозьях. Рассказы Бориса о дорожных страхах возымели на всех нас свое устрашающее действие, вследствие чего матушка по ночам аккуратно пересаживала Бориса с козел в возок. Помню, как он, бывало, влезал к нам в волчьей шубе, внося с собою целое облако холодного пара, и обыкновенно сейчас же опять заводил страшные рассказы. Так мы проехали огромные лесные пространства и однажды вечером, остановясь перед маленькой станцией, увидели у крыльца кибитку с тройкой дрожащих и дымящихся лошадей. На станции была заметна какая-то суета и беготня с крыльца во двор и со двора на крыльцо. Всех, очевидно, занимало что-то и необыкновенное и смешное, потому что все бежали и не то охали, не то смеялись. Один верховой выскочил из ворот и, скаля зубы, понесся в одну сторону леса; другой, совсем помирая со смеха и нещадно настегивая по бокам коня, поскакал в другую. Мы рассчитывали здесь пить чай и вошли в сени. Нянька вела под руку матушку; Борис, по обыкновению, нес меня на руках. В маленькой, слабо освещенной комнатке, в которую мы вступили прямо из сеней, была куча самых странных людей, с самыми невероятными, длинными и горбатыми носами, каких я никогда до тех пор не видал. Мне даже показалось, что это вовсе не люди, а одни носы. Во всей этой смятенной сутолоке раздавался странный и непонятный говор и трепетный плач с каким-то гортанным переливом. Три огромные носа в огромных бараньих шапках держали над тазом четвертый нос, из которого в две противоположные стороны били фонтаны крови. Эти носы были армяне, возвращавшиеся куда-то к себе из Москвы. Их было четверо, и они ехали всего за полчаса пред нами через лес, который мы благополучно минули. Трое из армян сидели в самой кибитке, а четвертый, их молодой приказчик, с самым большим восточным носом, помещался у них на коленях, так что огромный нос его высывался из кибитки наружу. Вдруг из лесной чаши раздался выстрел и несчастный нос этого благополучного армянина как раз пред самым кончиком прострелен крупною леткой... Нужно же было случиться такой странности!

Мы застали армянина, истекающего кровью над тазом; около него все кричали, суетились, и никто ничего не предпринимал. Узнав в чем дело, моя мать быстро разорвала свой носовой платок и устроила из него для раненого бинт и компрессы, а Борис, выдернув из стоявшей на столе сальной свечки фитиль, продернул его армянину сквозь нос, и перевязка была готова. Теперь все только смеялись, что, конечно, было очень неприятно раненому, но удержаться было невозможно. Этот жалкий армянин с простреленным носом и продернутым сквозь него фитилем из свечки был действительно до такой степени смешон, что, несмотря на его печальное положение, сама матушка моя постоянно отворачивалась, чтобы скрыть свой смех. Мы обогрелись и уехали с этой станции, оставив в ней армян ожидать пристава, а сами с этих пор всю дорогу только и толковали про то, как и почему разбойник прострелил армянину не щеку, не ухо, а именно один нос? Признаюсь вам, я до сих пор считаю это событие совершенно чрезвычайным, и когда заходит где-либо речь о Промысле или о фатализме, я всегда невольно припоминаю себе этого армянина, получившего в нос первое предостережение.

Глава шестая

Третье путешествие, которое живыми чертами врезалось в моей памяти, было уже всего за полтора верста от дядина имения. На дворе стояла сухая морозная ночь. Снег скрипел под полозьями и искрился, как рафинад. На лошадях и на людях сверкали морозные иглы. Мы подъехали к большому неприветливому дому, похожему на заброшенные боярские хоромы. Это тоже была станция, на которой нам категорически отказали в лошадях и не обещали даже дать их вскорости. Делать было нечего, мы выбрались из кибитки и пошли на станцию. В единственной большой комнате, назначенной и для проезжающих и для смотрительского стола, мы нашли сердитого-пресердитого вида человека в старой, поношенной бекеше. Это был станционный смотритель. Он сидел, подперши голову обеими руками, и смотрел в огромную, тускло освещаемую сальным огарком книгу. При нашем появлении он не тронулся и не ворохнулся, но тем не менее видно было, что чтение не сильно его занимало, потому что он часто зевал, вскидывал глазами на пламя свечи, очищал пальцами нагар и, поплевав на пальцы, опять лениво переводил глаза к книге. В комнате было мертвое молчание, прерываемое лишь то тихим и робким, то громким и азартным чириканьем сверчка где-то за старую панелью теплой печки. И вот опять на столе чай – это единственное универсальное лекарство от почтовой скуки; опять няня краснеет, опять дымится Борисов чуб, а смотритель все сидит и не удостоивает нас ни взгляда, ни звука. Бог знает, до чего бы додержал нас здесь этот невозмутимый человек, если бы на выручку нам не подоспело самое неожиданное обстоятельство.

Среди мертвой тишины под окнами послышался скрип полозьев, и в комнату вошел бойкою и щеголеватой походкой новый путешественник. Это был высокий и стройный молодой человек в хорошей енотовой шубе, подпоясанный красным гарусным шарфом, и в франтовской круглой меховой шапочке из бобрового котика. Он подошел прямо к смотрителю и, вежливо положив ему на стол свернутую подорожную, проговорил очень мягким и, как мне казалось, симпатическим голосом:

– Прошу вас нарядить пять лошадей.

Смотритель, кажется, очень обрадовался, что судьба послала ему нового человека, которого он мог помучить. Он даже искоса не взглянул на незнакомца и, отодвинув локтем его подорожную, сказал:

– Нет лошадей.

Подорожная упала на пол. Молодой человек в енотовой шубе поднял бумагу и без гнева вышел с нею вон. Борис, няня и матушка только переглянулись между собою, а Борис даже прошептал вдогонку проезжему:

– Вот тебе и енот!

Смотритель, очевидно, ликовал. Я впоследствии имел случай сделать вывод, что смотрительская должность имеет свойство приуготовлять в людях особенное расположение к злорадству.

Но в то время, как мы переглядывались, а смотритель радовался, в сенях раздались тяжелые шаги, пыхтенье и сап, и затем дверь грозно распахнулась настежь.

Мы все встрепенулись и насторожили и слух, и зрение.

Глава седьмая

В комнату вплыло целое облако холодного воздуха, и в этом воздухе заколебалась страшная черная масса, пред которою за минуту вошедший человек казался какой-то фитюлькой. Масса эта, в огромной черной медвежьей шубе с широким воротником, спускавшимся до самого пояса, с аршинными отворотами на доходивших до пола рукавах, в медвежьих сапогах и большой собольей шапке, – вошла, рыкнула: «где?» и, по безмолвному манию следовавшего за ним енота, прямо надвинулась на зрителя: одно мгновение – что-то хлопнуло, и на полу, у ног медвежьей массы, закопошился зритель. Еще хлоп – и новый полет кувырком, и снова безмолвие.

– Ты читал, мерзавец, подорожную? – заревел в медведе.

Зритель стоял, вытянувшись, дрожа и пятясь.

– Читал? – грозно переспросил медведь.

– Не... не... нет-с.

Но еще прежде чем зритель кончил это «нет-с»; в комнате опять раздалась оглушительнейшая пощечина, и зритель снова кувырком полетел под стол.

– Так ты даже не читал? Ты даже не знаешь, кто я? А небось ты четырнадцатым классом, каналья, пользуешься?

– Пользуюсь, ваше высокопревосходительство.

Оплеуха.

– Чин: «не бей меня в рыло», имеешь?

– Имею-с.

– Избавлен по закону от телесного наказания?

– Избавлен-с.

– Так вот же, не уповай на закон! Не уповай!

И посыпались пощечины за пощечиной; летели они градом, дождем, потоком; несчастный зритель только что поднимался, как падал снова на пол. Мы все привстали в страхе и ужасе и решительно не знали, что это за Наполеон такой набежал и как нам себя при нем держать; а зритель все падал и снова поднимался для того, чтобы снова падать, между тем как шуба все косила и косила. Я и теперь не могу понять, как непостижимо ловко наносила удары эта медвежья шуба. Она действовала как мельница: то одним крылом справа, то другим слева, так что это была как бы машина, ниспосланная сюда затем, чтобы наказать невозмутимого чиновника. Вслед за последним ударом шуба толкнула избитого зрителя сапогом под стол и, не говоря ему более ни слова, повернула к дверям и исчезла в морозном облаке; за медведем ушел и енот. Чуть только она вышла, зритель тотчас же выкарабкался, встряхнулся, как пудель, и тоже исчез. Через секунду на дворе зазвенел его распорядительный голос, а еще через минуту экипаж ускакал. Зритель, проводив гостей, вошел в комнату, повесил на колышек шапку и сел к своей книге, но прочитал немного. Он, видимо, нуждался в беседе: хотел облегчить свою душу разговором и потому, обратясь к матушке, сказал довольно спокойным для его положения тоном:

– Вот, изволили видеть, какие у нас в России бывают по службе неприятности.

– Да, это ужасная неприятность, – отвечала моя сердобольная матушка и добавила: – Я удивляюсь, неужто вы все это так и оставите?

– Нет-с: да что же... тут если все взыскивать, так и служить бы невозможно, – отвечал зритель. – Это большая особа: тайный советник и сенатор (зритель назвал одну из важных в тогдешнее время фамилий). От такого, по правде сказать, оно даже и не обидно; а вот как другой раз прапорщик какой набежит или корнет, да тоже к рылу лезет, так вот это уж очень противно.

Сказав это, смотритель вздохнул, вышел и велел запрягать нам лошадей.

Таким образом, если вам угодно, я, проезжая по России до места моего приюта, получил уже довольно своеобразные уроки и составил себе довольно самостоятельное понятие о том, что может ждать меня в предстоящем. Все, что я ни видал, все для меня было сюрпризом, и я получил склонность ждать, что вперед пойдет все чуднее и чуднее.

Так оно и вышло.

Глава восьмая

В имении дяди меня на первых же порах ожидали еще новые, гораздо более удивительные вещи. Брат моей матери, князь Семен Одоленский, беспардонный либерал самого нелиберального времени, был человек, преисполненный всяческих противоречий и чудачеств.

Он когда-то много учился, сражался в отечественную войну, был масоном, писал либеральнейшие проекты и за то, что их нигде не принимали, рассердился на всех – на государя, на Сперанского, на г-жу Крюденер, на Филарета, – уехал в деревню и мстил всем им оттуда разными чудачествами, вероятно оставшимися для тех никогда неизвестными. Он жил в доме странном, страшном, желтом и таком длинном, что в нем, кажется, можно было уставить две целые державы – Липпе и Кнингаузен. В этом доме брат моей матери никогда не принимал ни одного человека, равного ему по общественному положению и образованию; а если кто к нему по незнанию заезжал, то он отбояривал гостей так, что они вперед сюда уже не заглядывали. Назад тому лет двадцать верстах в сорока от него жила его родная тетка, старая княжна Авдотья Одоленская, которая лет пять сряду ждала к себе племянника и, не дождавшись, потеряла, наконец, терпение и решила сама навестить его. Для этого визита она выбрала день его рождения и прикатила. Дядя, узнав о таком неожиданном родственном набеге, выслал дворецкого объявить тетке, что он не знает, по какому бы такому делу им надобно было свидеться. Одним словом, он ее выпроваживал; но тетка тоже была не из уступчивых, и дворецкий, побеседовав с ней, возвратился к дяде с докладом, что старая княжна приехала к нему как к новорожденному. Дядя нимало этим не смутился и опять выслал в зал к тетке того же самого дворецкого с таким ответом, что князь, мол, рождению своему не радуются и поздравления с оным принимать не желают, так как новый год для них ничто иное, как шаг к смерти. Но княжна и этим не пронялась: она села на диван и велела передать князю, что до тех пор не встанет и не уедет, пока не увидит новорожденного. Тогда князь позвал в кабинет камердинера, разоблачился донага и вышел к гостье в чем его мать родила.

– Вот, мол, государыня тетушка, каков я родился!

Княжна давай бог ноги, а он в этом же райском наряде выпроводил ее на крыльцо до самого экипажа.

Вообще присутствия всякого рувни князь не сносил, а водился с окрестными хлыстами, сочинял им для их радений песни и стихи, сам мнил себя и хлыстом, и духоборцем, и участвовал в радениях, но в Бога не верил, а только юродствовал со скуки и досады, происходивших от бессильного гнева на позабывшее о нем правительство. Семьи законной у него не было: он был холост, но имел много детей и не только не скрывал этого, но неумолчно требовал, чтоб ему записали его детей в формулярный список. На бумагах же, где только была надобность спросить его «холост он или женат и имеет ли детей», он постоянно с особенным удовольствием писал: «Холост, но детей имею». Об обществе он не заботился, потому что якобы пренебрегал всеми «поклоняющимися злату и древу», и в приемном покое, где некого было принимать, держал на высокой, обитой красным сукном колонне литого из золота тельца со страшными зелеными изумрудными глазами. Пред этим тельцом будто бы когда-то кланялись и присягали по особой присяге попы и чиновники, и телец им выкидывал за каждый поклон по червонцу, но впоследствии все это дяде надоело и комедия с тельцом была брошена. Деловыми занятиями князя были бесчисленные процессы, которые он вел почти со всеми губернскими властями, единственно с целью дразнить их и оскорблять безнаказанным образом. В этом искусстве он достиг замечательного совершенства и нередко даже не одних чиновников поражал неожиданностью и оригинальностью своих приемов. Он сочинял сам на себя изветы и доносы, чтобы заводить переписку с властями, имея заранее обдуманнные планы, как злить и безнаказанно обижать чиновников. Пропадал, например, в соседнем с ним губернаторском

имении скот. Дядя тотчас призывал самого ябедливого дьячка, подпаивал его водкой, которой и сам выпивал для примера, и вдруг ни с того ни с сего доверял дьячку, что губернаторский скот стоит у него на задворке. Через неделю губернатор получал донос на дядю, и тот ликовал: все хлопоты и заботы о том только и шли, чтобы вступить в переписку. На первый же запрос дядя очень спешно отвечал, что «*я-дескота губернатора* с его полей в свои закуты загонять никогда не приказывал, да и иметь *его скота* нигде вблизи меня и моих четвероногих не желаю; но опасаюсь, не загнал ли *скота губернатора*, по глупости, мой бурмистр из села *Поганец*». По этому показанию особый чиновник летел в село Поганец и там тоже, разумеется, никакого «скота губернатора» не находил; а дядя уже строчил новую бумагу, в коей жаловался, что «*Поганец губернаторский чиновник*, обыскивая, перепугал на скотном дворе всех племенных телят». Если же дяде не удавалось втравливать местных чиновников в переписку с собою, то он строчил на них жалобы в том же тоне в столицы. Так, в одной жалобе, посланной им в Петербург на местного губернатора, он писал без запятых и точек: «в бытность мою в губернском городе на выборах я однажды встретился с господином начальником губернии и был изруган *им подлецом и мошенником*», а в другой раз, в просьбе, поданной в уголовную палату, устроил, конечно с умыслом, в разных местах подчистки некоторых слов в таком порядке, что получил возможность в конце прошения написать следующую оговорку: «а что в сем прошении по почищенному написано, что судившие меня, члены, уголовной, палаты, все, до, одного, взяточники, подлецы, и, дураки, то это все верно и прошу в том не сомневаться...»

Тогда, в те мрачные времена бессудия и безмолвия на нашей земле, все это казалось не только верхом остроумия, но даже вмнялось беспокойному старику в высочайшую гражданскую доблесть, и если бы он кого-нибудь принимал, то к нему всеконечно многие бы ездили на поклонение и считали бы себя через то в опасном положении, но у дяди, как я сказал, дверь была затворена для всех, и эта-то недоступность делала его еще интереснее.

Глава девятая

У матери были дела с дядею: ей надлежала от него значительная сумма денег. Таких гостей обыкновенные люди принимают вообще нерадостно, но дядя мой был не таков: он встретил нас с матерью приветливо, но поместил не в доме, а во флигеле. В обширном и почти пустом доме у него для нас места не достало. Это очень обидело покойную матушку. Она мне не сказала ничего, но я при всей молодости моих тогдашних лет видел, как ее передернуло.

Непосредственно за прибытием нашим в дядину усадьбу у нас так и потянулась полоса скучной жизни. Дяди я не видал, а грустная мать моя была плохим товарищем моему детскому возрасту, жаждавшему игр и забав. Зима уходила, и снега стали сереть; кончался пост. Однажды, пригорюнясь, сидел я у окна и смотрел на склонявшееся к закату весеннее солнце, как вдруг кто-то большую, твердую, тяжелую походкой прошел мимо окна и ступил на крыльцо флигеля так, что ступени затрещали под его ногами. Через минуту растворилась дверь, и на пороге показался мой дядя.

Это было первое посещение, которое он решился сделать моей матери после нашего приезда в его имение.

Не знаю почему, для чего и зачем, но при виде дяди я невыразимо его испугался и почти в ужасе смотрел на его бледное лицо, на его пестрой термаламы халат, пунцовый гро-гро галстук и лисью высокую, остроконечную шапочку. Он мне казался великим магом и волшебником, о которых я к тому времени имел уже довольно обстоятельные сведения.

Прислонясь к спинке кресла, на котором застал меня дядя, я не сомневался, что у него в кармане непременно есть где-нибудь ветка омелы, что он коснется ею моей головы, и что я тотчас скинусь белым зайчиком и поскачу в это широкое поле с темными перелогам, в которых растлеваются флером весны подернутый снег, а он скинется волком и пойдет меня гнать... Что шаг, то становится все страшнее и страшнее... И вот дядя подошел именно прямо ко мне, взял меня за уши и сказал:

– Здравствуй, пумперлей! – и при этом он подавил мне слегка книзу уши и добавил: – Ишь что за гадость мальчишка! плечишки с вершок, а внизу жиреешь. Постное, небось, ел?

– Постное, – прошептал я едва слышно.

Дядя опять дакнул меня за уши и проговорил:

– Точная девочка; изгадила, брат, тебя мать, изгадила.

– Брат! – отозвалась ему из другой комнаты с укоризною мать.

Дядя ушел к ней, и она заговорила с ним по-английски, сначала просто шумно, а потом и сердито.

Я понял одно, что дядя над чем-то издевался, и мне показалось, что насмешки его имеют некоторое соотношение к восковому купидону, которого в большом от меня секрете золотила для меня моя мать.

– Это – растление, – говорил дядя. – В жизни все причинно, последовательно и условно. Сюрпризами только гадость делается.

Мать умоляла дядю замолчать.

– Пусть, – говорила она, – пусть по-твоему. Пускай жизнь будет подносить ему одни неприятности, но пусть я... пусть мать поднесет ему удовольствие.

Я тогда несвободно понимал по-английски и не понял, чем кончился их разговор, да и вдобавок я уснул. Меня раздели и сонного уложили в кровать. Это со мною часто случалось.

Помнилось мне только сквозь сон, что дядя, проходя мимо меня, будто сказал мне:

– Мой милый друг, тебя завтра ждет большой сюрприз.

На утро я проснулся очень рано, но боялся открыть глаза: я знал, что вербный купидон, вероятно, уже слетел к моей постельке и парит над ней с какими-нибудь большими для меня радостями.

Я раскрыл глаза сначала чуть на один волосок, потом несколько шире, и, наконец, уже не сам я, а неведомый ужас растворил их, так что я почувствовал их совсем круглыми, и при этом имел только одно желание: влипнуть в мою подушку, уйти в нее и провалиться...

Вербный купидон делал мне сюрприз, которого я действительно ни за что не ожидал: он висел на широкой голубой ленте, а в объятиях нес для мира печали и слез... розгу. Да-с, не что иное, как большую березовую розгу!.. Увидев это, я долго не мог прийти в себя и поверить, проснулся я или еще грежу спросонья; я приподнимался, всматривался и, к удивлению своему, все более и более изумлялся: мой вербный купидон действительно держал у себя под крылышками огромный пук березовых прутьев, связанных такую же голубой лентой, на какой сам он был подвешен, и на этой же ленте я заметил и белый билетик. «Чту это было на билетике при таком странном приношении?» – размышлял я и хотя сам тщательно кутался в одеяло и дулся на прилет купидона с розгой, но... но не выдержал... вскочил, сорвал билетик и прочитал:

– «Кто ждет себе ни за что ни про что радостей, тот дождетя за то всяких гадостей».

«Это дядя! это непременно дядя!» – решил я себе и не ошибся, потому что в эту минуту дядя распахнул занавески моей кровати и... изрядно меня высек ни зб что и ни пру что.

Матушка была в церкви и защищать меня было некому; но зато она, узнав о моем сюрпризе, решила немедленно отвезти меня в гимназический пансион, где и начался для меня новый род жизни.

Таким я припоминаю вербного купидона. Он имел для меня свое серьезное значение. С тех пор при каких бы то ни было упованиях на что бы то ни было свыше у меня в крови пробегает трепет и мне представляется вечно он, вербный купидон, спускающийся ко мне с березовой розгой, и он меня сек, да-с, он много и страшно сек меня и... я опасаюсь, как бы еще раз не высек... Нечего, господа, улыбаться, – я рассказываю вам историю очень серьезную, и вы только благоволите в нее вникнуть.

Глава десятая

В нынешнее время у школяров есть честность гражданская; у нас была честность рыцарская. Жизнь была тоже рыцарская. Неустрашимость, храбрость и мужество в разнообразнейших их приложениях и проявлениях подвергались испытанию. Классные комнаты назывались залами различных орденов. Тут были круглоголовые, черноголовые рыцари, странствующие рыцари и всякие другие, каких вам угодно орденов и званий. Огромный сад пансиона служил необъятным поприщем, на котором происходили бои и турниры, что бывало зимой, когда нас пускали в этот сад, особенно удобно по причине огромных, наваленных тут сугробов, изображавших замки и крепости.

Я жил голодно и учился прекрасно. Так прошел год, в течение которого я не ездил домой ни разу. Я, впрочем, обвыкся и не скучал. Затруднительною порой в этой жизни было для нас вдруг объявленное нам распоряжение, чтобы мы никак не смели «отвечать в повелительном наклонении». Нам было сказано, что это требуется из Петербурга, и мы были немало уstraшены этим требованием, но все-таки по привычке отвечали: «подведи шар под меридиан» или «раздели частное и умножь делителя». Отучить нас отвечать иначе, как напечатано в книгах, долго не было никакой возможности, и бывали мы за то биты жестоко и много, даже и не постигая, в чем наша вина и преступление. Знакомства и исключительного дружества я ни с кем в школе не водил, хотя мне немножко более других нравились два немца – братья Карл, который был со мною во втором классе, и Аматус, который был в третьем. Помню, что оба они были очень краснощекие и аккуратно каждую перемену сходились друг с другом у притолки двери, разделявшей наши классы; и Карл, бывало, говорил Аматусу:

– Аматус, мне кажется, что я себе нынче из русского нуль достал.

А на следующую перемену Аматус являлся к притолке и возвещал:

– Нет, Карлюс, я о тебе справился, ты ошибаешься: это тебе не кажется, а ты себе настоящий нуль достал.

Эта пунктуальность и обстоятельность в сих юных характерах мне чрезвычайно нравились, и я всегда с жадностью прислушивался к этому тихому и совершенно серьезному разговору двух немцев об одном нуле.

Но сюрприз мне был уже готов и ждал меня, а я к нему мчался.

Глава одиннадцатая

Приближалась Пасха. До Страстной недели оставалось всего одна неделя, одна небольшая неделя. В дортуарах вечером разнесся слух, что нас распустят не в субботу, а в четверг. Я уеду и увижу мать!.. Сердце мое трепетало и билось. Тревожные ощущения эти еще более усилились, когда в среду один из лакеев, утирая меня полотенцем, шепнул мне:

– За вами приехали.

Когда я пришел в столовую, сел за свой чай, то почувствовал, что вся кровь бросилась мне в лицо, и у меня начали пылать уши. Все это произошло от одного магического слова, которое произнеслось шепотом и в сотне различных переливов разнеслось по столовой. Это магическое слово было: «за ним прислали».

Понятно, что ежели бы нас пустили сегодня или завтра, в четверг, то я завтра же мог бы и ехать.

– Если бы только пустили!

Но вот в четверг начинаются и оканчиваются классы. Начальство не заводит ровно никакой речи об отпуске. Пред обедом несколько других товарищей выбегают по вызову лакея в переднюю и возвращаются с радостными лицами: и за ними прислали. В часы послеобеденного отдыха известия о присылке еще учащаются, вечером они еще возрастают, и, наконец, оказывается, что чуть ли не прислали уже за всем пансионом. Нетерпение разгорается с каждой минутой. Каждая минута становится бог весть какою тягостью. Мысль о том, что нужно идти спать в те же прохладные дортуары, становится несносна. Приготовлять уроки с вечера нет уже никакой силы. Так и мерещатся, так и снятся наяву лошади, бричка, няня и теплая беличья шубка, которую прислала за мною мама и которую няня неизвестно для чего, в первые минуты своего появления в пансион, принесла мне и оставила. Вечерние уроки мы все отсидели как на иголках. Четверг нас уже обманул, но может быть зато выручит пятница? Неужто же ждать до субботы? Неужто нельзя ускорить приближение счастливого момента хотя на одни сутки?

Кто-то из детей, – я очень долго помнил его имя, но теперь позабыл, – вздохнул и с детским равнодушием воскликнул:

– Боже мой, неужто нет никаких средств, чтобы выдумать что-нибудь такое, чтобы нас отпустили раньше.

– Нет таких средств, и если даже не ошибаюсь, то, мне кажется, нет таких *физических* средств, – сказал в ответ ему, вздохнувши, другой маленький мальчик.

Замечательное дело, что тогда, когда в людях было менее всего всякой положительности, у нас, когда говорили о средствах, всегда прибавлялось, что нет *физических* средств, как будто в других средствах, нравственных и моральных, тогда никто уже не сомневался.

– Да, так; нет никаких физических средств, – отвечал первый маленький мальчик.

– А кто это сказал – тот дурак, – заметил возмужалым голосом некто Калатузов, молодой юноша лет восемнадцати, которого нежные родители бог весть для чего продержали до этого возраста дома и потом привезли для того, чтобы посадить рядом с нами во второй класс.

Мы его звали «дядюшкой», а он нас за это бил. Калатузов держал себя «на офицерской ноге». Держать себя на офицерской ноге в наше время значило: не водиться запанибрата с маленькими, ходить в расстегнутой куртке, носить неформенный галстук, приподниматься лениво, когда спросят, отвечать как бы нехотя и басом, ходить вразвалку. Все это строго запрещалось, но, не умею вам сказать, как и почему, всегда в каждом заведении тогдашнего времени, к которому относится мое воспитание, были ученики, которые умели ставить себя «на офицерскую ногу», и им это не воспрещалось.

Глава двенадцатая

В нашем классе один Калатузов был на офицерской ноге. Он мог у нас бить всю мелкоту, сам он был большой дурак, аппетит имел огромный, а к учению способности никакой. Это знали все учителя и потому никогда его не спрашивали, а если в заведение приезжало какое-нибудь начальствующее лицо, то Калатузова совсем убирали и клали в больницу. Он этим гордился. Впрочем, раз было с ним несчастное происшествие: его спросил один новый учитель. Это был новоприбывший преподаватель географии. Производя первую переключку, он вызвал и Калатузова.

Калатузов тяжело приподнялся, перевалился с боку на бок, облокотился косточками правой руки на стол и легким бархатным баском сказал:

– Я полагал, что вы, вероятно, знаете, что я ничего не знаю.

Учитель рассмеялся и отвечал:

– Ну, в таком случае я запишу вам нуль.

– Это как вы хотите, – отвечал спокойно Калатузов, но, заметив, что непривычный к нашим порядкам учитель и в самом деле намеревается бестрепетною рукой поставить ему «котелку», и сообразив, что в силу этой отметки, он, несмотря на свое крупное значение в классе, останется с ленивыми без обеда, Калатузов немножко привалился на стол и закончил: – Вы запишете мне нуль, а я на следующий класс буду все знать.

Большой рост дурака, его пробивающиеся усы, мужественный голос и странная офицерская манера держаться, резко выделявшая его из окружающей его мелюзги, все, по-видимому, возбуждало к нему большое внимание нового учителя; рассмеявшись, он положил перо и сказал шутливо:

– Хорошо, господин Калатузов, я вам в таком случае не напишу нуля, если вы обещаетесь знать что-нибудь.

– Вы будьте в этом уверены, – отвечал Калатузов.

И вот пришел следующий класс; прочитали молитву; учитель сел за стол; сделалась тишина. Многих из нас занимало, спросит или не спросит нынешний раз новый учитель Калатузова; а он его как раз и зовет.

– Вы нам, кажется, – говорит, – обещали прошлый раз что-то выучить?

Калатузов нехотя, что называется, как вор на ярмарке, повернулся, наклонился в один бок плечом, потом перевалился на другой, облокотился кистями обеих рук о парту и медленно возгласил:

– Точно, я вам это обещал.

– Что же вы знаете? – спросил учитель.

Для Калатузова это был вопрос весьма затруднительный; ему было безразлично, о чем бы его ни спросили, потому что он ничего не знал, но он, нимало не смутившись, равнодушно посмотрел на свои ногти и сказал:

– Я все знаю.

– Все?

– Да, все, – еще спокойнее отвечал Калатузов.

Учителю стало необыкновенно весело, а мы с удовольствием и не без зависти заметили, что Калатузов овладевал и этим новым человеком и, конечно, и от него будет пользоваться всякими вольностями и льготами.

– Но есть же что-нибудь такое, – спросил его учитель, – что вы особенно хорошо знаете?

– Нет, мне все равно; я все одинаково знаю, – отвечал, нимало не смущаясь, Калатузов.

– Но, верно, есть что-нибудь такое, что вам особенно приятно рассказать. Я хочу, чтобы вы сами выбрали.

– Извольте, – отвечал Калатузов и, бесцеремонно нагнувшись к своему маленькому соседу, взял в руки географию, развернул ее, взглянул на заголовок статьи и сказал:

– Пруссию.

– Вы лучше всего знаете Пруссию?

– Да, Пруссию, – отвечал Калатузов.

– Потрудитесь начинать.

– Извольте, – отвечал Калатузов и, глядя преспокойно в книгу, начал, как теперь помню, следующее определение: «Бранденбургия была», но на этом расхохотавшийся учитель остановил его и сказал, что читать по книге вовсе не значит знать. Калатузов бросил книгу на стол, дал в обе стороны два кулака сидевшим около него малюткам и довольно громко сказал: «Подсказывай»... Молодой учитель смотрел на всю эту проделку с видимым удовольствием. Его это смешило и тешило. Два маленьких мальчика, боявшиеся своего огромного соседа, оба зажужжали: «Бранденбургия была первоначальным зерном Прусского королевства». Так излагались сведения о Пруссии в нашей географии. Жужжавшие наперерыв друг пред другом мальчики подсказывали, однако, неудовлетворительно. Калатузов пригинулся то к одному из них, то к другому и, получая вместо определительных слов какое-то жужжание, вышел, наконец, из терпения и сказал:

– Один подсказывай.

Соседний мальчик справа внятно произнес ему:

– Бранденбургия была первоначальным зерном Прусского королевства.

– Довольно, – сказал Калатузов; с этим он откашлянулся, провел пальцем за галстуком, поправил рукой волосы, которые у него, по офицерским же правилам, были немного длиннее, чем у всех нас, и спокойно возгласил:

– *Пруссия есть зерно.*

– Как зерно? – переспросил изумленный учитель.

– Так написано, – отвечал Калатузов.

– Но позвольте же узнать, как же это? Есть зерна ржаные, овсяные, пшеничные. Какое же зерно Пруссия?

Калатузов подумал и, сделав кислую гримасу, отвечал:

– Я вам не могу объяснить этого, какое это чертово зерно.

Вот этот-то умник Калатузов во время тайного разговора в четверг Лазаревой недели и говорит:

– Пустяки, – говорит, – есть физическая возможность, чтобы нас отпустили завтра утром; мне, – говорит, – нет ничего легче доказать вам эту физическую возможность.

Мы стали просить, чтоб он нам ее доказал.

– Сегодня вечером, – начал внушать Калатузов, – за ужином пусть каждый оставит мне свой хлеб с маслом, а через полчаса я вам открою физическую возможность добиться того, чтобы нас не только отпустили завтра, но даже по шеям выгнали.

– Выгонят по шеям!.. – У нас даже ушки от этого запрыгали.

– Только надо, чтоб кто-нибудь взялся сделать одно дело, – продолжал Калатузов.

– Страшное? – спросило разом несколько голосов.

– Ну, не очень страшное, – отвечал Калатузов, – но таки рискованное.

– Рискованное? – крикнул тоненьким голоском маленький, чистенький и опрятный мальчик, который был необыкновенно красив и которого все в классе целовали.

Он назывался Локотков.

– Рискованное? – воскликнул Локотков. – Я берусь за всякое рискованное дело.

Локотков был у нас отчаянно головой: он употреблялся в классе для того, чтобы передразнивать учителя-немца или приводить в ярость и неистовство учителя-француза. Характера он был живого, предприимчивого и пылкого.

Локоткову удавалось входить в доверие к учителю французского языка и коварно выводить его на посмешище, уверяя его во время перевода, что сказать: «у рыб нет зуб» невозможно, а надо говорить: или «у рыбей нет зубей», или «у рыбов нет зубов» и т. п.

Кончалось это обыкновенно тем, что Локоткову доставался нуль за поведение, но это ему, бывало, неймется, и на следующий урок Локотков снова, бывало, смущает учителя, объясняя ему, что он не так перевел, будто «голодный мужик выпил кувшин воды одним духом».

– Одним духом невозможно пить, *monsieur Basel*,³ – внушал с кротостью учителю Локотков.

– *Taisez-vous*,⁴ – сердито кричал француз и, покусав в задумчивости губы, лепетал: – Мужик, *le paysan*,⁵ выпил кувшин воды *одним* ... шагом. Да, – выговаривал он тверже, вглядываясь во все детские физиономии, – именно выпил кувшин воды *одним шагом* ... нет... одним духом... нет: одним шагом...

И раздавался снова хохот, и *monsieur Basel* снова выписывал Локотову *zéro*.⁶ И вот это – то веселый, добродушный мальчик вызвался совершить рискованное предприятие.

³ Господин Базель – *Франц.*.

⁴ Молчите – *Франц.*

⁵ Мужик – *Франц.*

⁶ Ноль – *Франц.*

Глава тринадцатая

Рискованное предприятие, которое должно было спасти нас и выпустить двумя днями раньше из заведения, по плану Калатузова заключалось в том, чтобы ночью из всех подсвечников, которые будут вынесены в переднюю, накрасть огарков и побросать их в печки: сделается-де угар, и нас отпустят с утра.

План был прост и гениален.

Что за тревожная ночь за сим наступила! Тишина была замечательная: не спал никто, но все притворялись спящими. Маленький Локотков, в шерстяных чулках, которые были доставлены мне нянею для путешествия, надел на себя мне же доставленную шубку мехом навыворот, чтоб испугать, если невзначай кого встретит, и с перочинным ножиком и с двумя пустыми жестяными пиналями отправился на очистку оставленных подсвечников. Поход совершился благополучно. Локотков возвратился, сало украдено, но сам вор как будто занемог; он лег на постель и не разговаривал. Это было вследствие тревоги и волнения. Мы это понимали.

Глава четырнадцатая

На небе засерело туманное, тяжелое апрельское утро. Нам все не спится. Еще минута, и вот начинается перепархивание с одной кровати на другую, начинаются нервная горячка и страх. На некоторых кроватях мальчики помещаются по двое, и здесь и там повсеместно идет тихий шепот и подсмеиванье над тем, что будет и как будет. Кое-кто сообщает идиллические описания своей деревушки, своего домика, но и между идиллиями и между хохотом все беспрестанно оборачиваются на кроватку, на которой лежит Локотков. Он, кажется, спит; его никто не беспокоит. Все чувствуют к нему невольное почтение и хотели бы пробудить его, но считают это святотатством. Кто-то тихо подкрался к нему, посмотрел в глаза, прислушался к дыханию и покачал головой. Что значит это неопределительное покачиванье головой – никому неизвестно, но по дортуару тихо разносится «спит». И вот еще минута. Всем кажется, что Локоткова пора бы, наконец, будить, но ни у кого не достает решимости. Наконец где-то далеко внизу, на крыльце, завизжал и хлопнул дверной блок.

Это истопники несут дрова... роковая минута приближается: сейчас начнут топить. Дух занимается. У всех на уме одно и у всех одно движение – будить Локоткова.

Длинный, сухой ученик с совершенно белыми волосами и белесоватыми зрачками глаз, прозванный в классе «белым тараканом», тихо крадется к Локоткову и только что хотел произнести: «Локотков, пора!», как тот, вдруг расхохотавшись беззвучным смехом, сел на кровать и прошептал: «Ах, какие же вы трусы! Я тоже не спал всю ночь, но я не спал от смеха, а вы... трусишки!», и с этим он начал обуваться.

«Вот-то Локотков, молодчина!» – думали мы, с завистью глядя на своего благородного, самоотверженного товарища.

«Вот-то характер, так характер!»

За ширмами потянулся гувернер, встал, вышел с заспанным лицом и удивился, что мы все уже на ногах.

В нижнем этаже и со всех сторон начинается хлопанье дверей и слышится веселое трещанье затопившихся печек. Роковая минута все ближе и ближе. Проходя в умывальную попарно, мы все бросали значительные взгляды на топившуюся печку и держались серьезно, как заговорщики, у которых есть общая тайна.

Кровь нашу слегка леденил и останавливал мучительный вопрос, как это начнется, как это разыграется и как это кончится?

Глава пятнадцатая

Локотков казался серьезнее прочих и даже был немножко бледен. Как только мы стали собираться в классы, он вдруг начал корчить болезненные мины и улизнул из чайной под предлогом не терпящих отлагательства обстоятельств, известных под именем «надобности царя Саула». Мы смекнули, что он отправился на опасное дело, и хлебали свою теплую воду с усугубленным аппетитом, не нарушая ни одним словом мертвого молчания. Локотков, запыхавшийся, немного бледный, со вспотевшим носом и взмокшими на лбу волосами, явился в комнату снова не более как минут через пять. Было большое сомнение; сделал ли он что-нибудь, как нынче говорят, *для общего дела*, или только попытался, но струсил и возвратился без успеха. Обежать в такое короткое время целое заведение и зарядить салом все печи казалось решительно невозможным. Устремленные со вниманием глаза наши на Локоткова не могли прочесть на его лице ничего. Он был, видимо, взволнован, но пил свой остывший чай, не обращая ни на кого ни малейшего внимания. Но прежде чем мы могли добиться чего-нибудь на его лице, загадка уже разъяснилась. Дверь в нашу комнату с шумом распахнулась, и немец-инспектор быстро пробежал в сопровождении двух сторожей. Густой, удушливый чад полез вслед за ними по всем комнатам. Локотков быстро отворил печную дверку этого единственного покоя, где еще не было угара, и в непотухшие угли бросил горсть солевых крошек вместе с куском синей сахарной бумаги, в которую они были завернуты. Мы побледнели. Один Калатузов спокойно жевал, как вол, свою жвачку и после небольшой паузы, допив последний глоток чайной бурды, произнес спокойно:

– А вот теперь за это может быть кому-нибудь славная порка.

При этих словах у меня вдруг перехватило в горле. Я взглянул на Локоткова. Он был бледен, а рука его неподвижно лежала на недопитом стакане чаю, который он только хотел приподнять со стола.

– Да, славная будет порка, – продолжал Калатузов и, отойдя к окну, не без аппетита стал утирать свой рот.

– Но кто же это может открыть? – робко спросил в это время весь покрывшийся пунцовым румянцем Локотков.

– Тот, кто домой хочет пораньше, – отвечал Калатузов.

Глава шестнадцатая

Начальство сразу смекнуло в чем дело, да немудрено было это и смекнуть. Распахнулись двери, и на пороге, расчищая ус, явился сторож Кухтин, который у нас был даже воспет в стихах, где было представлено торжественное ведение юношей рыцарей на казнь, причем,

Как грозный исполин,
Шагал там с розгами Кухтин.

При виде этого страшного человека Локотков изобличил глубокий упадок духа. Стоя возле него, я видел не только, как он покачнулся, но даже чувствовал, как трепетала на его сюртучке худо пришитая пуговка и как его маленькие пухленькие губки сердечком выбивали дробь.

Начался допрос. Дети сначала не признавались, но когда директор объявил, что все три низшие класса будут высечены через четыре человека пятый, началось смятение.

– Отделяйтесь! – начал директор. – Ты, первый, становись к скамье.

Один робкий мальчик отошел и подвинулся к скамье. Он водил тревожными глазами по зале и ничего не говорил, но правая рука его постоянно то поднималась, то опускалась, – точно он хотел отдать кому-то честь. Следующие четыре мальчика были отставлены в сторону; эти немедленно начали часто и быстро креститься. Пятый снова тихо подвигался к скамье. Это был тот бледный, запуганный мальчик, которого звали «белым тараканом». Совсем оробев, он не мог идти: ноги у него в коленях подламывались, и он падал. Кухтин взял его под мышку, как скрипку, и посадил на пол.

– Бросали сало? – отнесся к нему директор.

– Да, да, – пролепетал ему мальчик.

– Кто бросал?

«Белый таракан» пошатнулся, оперся ладонями в пол и, качнув головой, прошептал:

– Я не знаю... все...

– Все? стало быть, и ты?

– Я, нет, не я.

У него, видимо, развязался язык, и он готов был проговориться; но вдруг он вспомнил законы нашей рыцарской чести, побагровел и сказал твердо:

– Я не знаю, кто.

– Не знаешь? ну, восписуем ти, раба, – отвечал директор, толкнув его к скамейке, и снова отделилась четверка счастливых.

В числе счастливых четвертого пятка выскочил Локотков. Я заметил, что он не разделял общей радости других товарищей, избегавших наказания; он не радовался и не крестился, но то поднимал глаза к небу, то опускал их вниз, дрожал и, кусая до крови ногти и губы, шептал: «Под твою милость прибегаем, Богородица Дева».

У нас было поверье, что для того чтобы избежать наказания или чтобы оно, по крайней мере, было легче, надо было читать про себя эту молитву. Локотков и шептал ее, а между тем к роковым скамейкам было отделено человек двадцать. Калатузов был избавлен от общей участи. Он стоял в ряду с большими, к которым могли относиться одни увещательные меры. Над маленькими началась экзекуция. Я был в числе счастливых и стоял зрителем ужасного для меня тогда зрелища. Стоны, вопли, слезы и верченья истязуемых детей поднимали во мне всю душу. Я сперва начал плакать слезами, но вдруг разрыдался до истерики. Меня хотели выбросить вон, но я крепко держался за товарищей, стиснул зубы и решил ни за что не уходить. Мне казалось, что происходит дело бесчеловечное, за которое все мы, как рыцари,

должны были вступиться. Высечены уже были два мальчика и хотели наказывать третьего. В это время Локотков, белее полотна, вдруг начал шевелиться, и чуть только раздался свист прутьев над третьим телом, он быстро выскочил вперед и заговорил торопливым, бессвязным голосом:

– Позвольте, позвольте... это я бросил сало...

Глава семнадцатая

Кухтин перестал сечь, тевтонский клюв директора вытянулся, и он сквозь очки остро воззрился на бледного Локоткова; в группе учеников пробежал тихий ропот, и на мгновение все затихло.

– Ты? – спросил директор. – Ты сам сознаешься?

– Я, – твердо отвечал Локотков. – Я сам сознаюсь: секите меня одного.

– Он? – обратился директор к ученикам.

Дети молчали. Некоторые, только покашливая, слегка подталкивали друг друга. На нескольких лицах как бы мелькнула какая-то нехорошая решимость, но никто не сказал ни слова.

– А, вы так! – сказал директор. – Тогда я буду сечь вас всех, всех, поголовно всех.

И – представьте себе мою прелестнейшую минуту в этом гадком воспоминании! – нас всех, маленьких детей, точно проникла одна электрическая искра, мы все рванулись к Локоткову и закричали:

– Да, да, секите нас всех, всех секите, а не его!

Директор закричал, затопал, дал нескольким ближе к нему стоявшим звонкие пощечины, и тут вдруг начальство перешло от угрозы к самым лукавым соблазнам.

– Это не может быть, – сказал директор, – чтобы вы все были так безнравственны, низки, чтобы желать подвергнуть себя такому грубому наказанию. Я уверен, что между вами есть благородные, возвышенные характеры, и начальство вполне полагается на их благородство: я отношусь теперь с моим вопросом именно только к таким, и кто истинно благороден, кто мне объяснит эту историю, тот поедет домой сейчас же, сию же минуту!

Едва кончилась эта сладкая речь, как из задних рядов вышел Калатузов и начал рассказывать все по порядку ровным и тихим голосом. По мере того как он рассказывал, я чувствовал, что по телу моему рассыпается как будто горячий песок, уши мои пылали, верхние зубы совершенно сцеплялись с нижними; рука моя безотчетно опустилась в карман панталон, достала оттуда небольшой перочинный ножик, который я тихо раскрыл и, не взвизывая вокруг себя света, бросился на Калатузова и вонзил в него...

Это было делом одного мгновения, пред которым другие три или четыре мгновения я не давал себе никакого отчета. Я опомнился и пришел в себя спустя три недели в незнакомой мне комнате и увидел пред собою доброе, благословенное лицо моей матери. У изголовья моего стоял маленький столик с лекарственными бутылочками; окна комнаты были завешены; везде царствовал полусвет. В углу моя няня тихо мочила в полоскательной чашке компрессы. Я хотел что-то сказать, но мать погрозила мне пальцем и положила этот бледный палец на мои почерневшие губы.

– Я знаю, что ты хочешь спросить, – сказала мне мать. – Забудь все: мы теперь живем здесь в гостинице, а *туда* ты больше не поедешь.

Меня взяли из заведения и отвезли в другое, в Москву, где меня не били, не секли, но где зато не было пленявшего меня рыцарского духа. Отсюда, семнадцати лет, я выдержал экзамен в Московский университет. Я был смирен и тих; боялся угроз, боялся шуток, бежал от слез людских, бежал от смеха и складывался чудачком; но от сюрпризов и внезапностей все-таки не спасался; напротив, по мере того как я подрастал, сюрпризы и внезапности в моей жизни все становились серьезнее и многозначительнее. Начинаю вам теперь мой университетский анекдот: отчего я хорошо учился, но не доучился.

Глава восемнадцатая

Время моего студенчества было славное время Московского университета, про которое нынче так кстати и некстати часто вспоминает наша современная литература. Я с самого первого дня был одним из прилежнейших фуксов. Домой к матушке я ездил только однажды в год. Один раз я уже гостил у ней, несказанно радуя ее моим голубым воротником; другая побывка домой предстояла мне следующим летом. Переписывались мы с матушкой часто; она была покойна и очень довольна своим положением у дяди: он был чудака, но человек предобрый, что, однако, не мешало ему порою сердить и раздражать мою мать. Так, он, например, в тот год как я был в университете, в Светлый праздник прислал матери самый странный подарок: это был запечатанный конверт, в котором оказался билет на могильное место на монастырском кладбище. Шутка с этим подарком необыкновенно встревожила мою немного мнительную мать; она мне горько жаловалась на дядину шутовство и видела в этом что-то пророческое. Я ее успокоивал, но без успеха.

Между тем, в ожидании лета, когда я снова надеялся увидеться с матушкой, я должен был переменить квартиру. Это обуславливалось случайностию. В семейство, в котором я жил, приехала одна родственница, и комната, которую я занимал, понадобилась хозяевам. Я пустился на поиски себе нового жилища. Дело это, конечно, не трудное и не головоломное, но злая судьба меня подстерегала. Должно вам сказать, что в первый раз, когда я пустился на эти поиски, мне мерещилось, как бы я не попал в какое-нибудь дурное место. Я знал много рассказов о нехороших людях, нехороших обществах и боялся попасть в эти общества, частью потому, что не любил их, чувствовал к ним отвращение, частью же потому, что боялся быть обиженным. Я всегда был характера кроткого и прошу вас не судить обо мне по моей гимназической истории. Нож и меч вообще руке моей не свойственны, хотя судьба в насмешку надо мною влагала в мои руки и тот, и другой. Я мог вспыхивать только на мгновение, но вообще всегда был человеком свойств самых миролюбивых, и обстоятельства моего детства и отрочества сделали меня даже меланхоликом и трусом до того, что я – поистине вам говорю – боялся даже переменить себе квартиру. Но это было необходимо: я крайне стеснял увеличившуюся семью моего хозяина до того, что он шутя сказал мне:

– Ну, дружок, Орест Маркович, воля твоя, а если честью от нас не выйдешь, я тебя с полицией вытравлю!

Удалиться было необходимо, и я на это решился...

Глава девятнадцатая

И вот не успел я выйти на свои поиски, как вижу, передо мною вдруг стала какая-то старушка.

– Батюшка мой, – говорит, – не квартиру ли ищешь?

«Господи, словно благодетельная волшебница, – думаю, – узнала, в чем я затрудняюсь, и стремится помочь мне».

– Да, – говорю, – вы отгадали: я ищу квартиру.

– А у нас, голубчик, тут в доме для тебя как раз есть прекрасная комната.

И с этим словом добродушная старушка взяла меня за руку и подвела меня к обитой чистою зеленою клеенкой двери, на которой была медная дощечка, в тогдашнее время составлявшая еще в Москве довольно замечательную редкость. На этой дощечке французскими литерами было написано: «*Léonide Postelnikoff, Capitaine*».⁷

– Вот тут он, – говорит, – родной мой, Леонид-то Григорьевич. Он ей, Марье Григорьевне, хозяйке нашей, брат доводится. Ты звякни, он и отопрется.

И с этими словами старушка сама позвонила и добавила:

– Она теперь сама-то, Марья Григорьевна, потерявши мужа, в расстройстве, а он ее делами управляет; он и комнату сдает; с ним покалякай, и тебе здесь хорошо-прехорошо будет.

За стеной послышались шаги, щелкнула задвижка, и в дверях показался высокий человек, одетый в серый нанковый казакин. По усам, по полувоенному казакину и по всей манере в этом человеке нетрудно было узнать солдата.

– К барину они, Клиим Степанович, – заговорила к нему моя старушка. – Квартиру у Марьи Григорьевны снять желают.

И, толкнув меня в спину, старушка зашлепала вниз по лестнице, а я очутился в небольшой светлой передней, в которой меня прежде всего поразила необыкновенно изящная чистота и, так сказать, своеобразная женственность убранства. Так, в этой передней стоял мягкий диванчик, обитый светленьким ситцем; вешалки не было, но вместо нее громоздился высокий платяной шкаф, как бывает в небольших квартирах, где живут одинокие женщины. Возле шкафа, на столике, стоял поднос с графином свежей воды и двумя стаканами. На окне были два горшка гортензий и чистенькая проволочная клетка с громко трещавшею калужской канарейкой, а в углу – пяльцы.

Из дверей открылась другая комната, более обширная и окрашенная розовою краской самого приятного цвета. Чистота этой комнаты еще более бросалась в глаза. Крашенные полы были налощены, мебель вся светилась, диван был весь уложен гарусными подушками, а на большом столе, под лампой, красовалась большая гарусная салфетка; такие же меньшие вышитые салфетки лежали на других меньших столиках. Все окна уставлены цветами, и у двух окон стояли два очень красивые, самой затейливой по тогдашнему времени работы дамские рабочие столика: один темного эбенового дерева с перламутровыми инкрустациями, другой – из мелкого узорного паркета.

Человек в сером казакине ввел меня в эту комнату и, попросив подождать, ушел в другую дверь, далее. Дверь эта была полуотворена и открывала покой еще более веселый и светлый: светло-голубые, небесного цвета стены его так и выдвигались. Всего убранства этого нового покоя я не мог рассмотреть, потому что видел только один уголок, но заметил там и горки, и этажерки, и статуэтки. Судя по обстановке квартиры, я решительно не мог объяснить себе, куда это я попал. Но прежде чем пришел на этот счет к каким-нибудь определенным заключениям, человек в сером казакине попросил меня в кабинет.

⁷ Леонид Постельников, капитан.

«Так это кабинет», – подумал я и, направляясь по указанию, очутился в этой небесной комнате, приюту и убранству которой в самом деле можно было позавидовать. Та же несказанная, невыразимая чистота, светлая, веселенькая мебель, какая уже теперь редко встречается или какую можно только встретить у охотников работать колькомани; вся эта мебель обита светлым голубым ситцем, голубые ситцевые занавесы, с подзорами на окнах, и дорогой голубой шелковый полог над широкою двуспальной постелью. По углам были, как я сказал, везде горки и этажерки, уставленные самыми затейливыми фигурками, по преимуществу женскими и, разумеется, обнаженными. Дорогой полог над кроватью был перетянут через толстое золотое кольцо, которое держал в лапах огромный вызолоченный орел. В углу был красивый трехъярусный образник и пред ним темного дерева аналой с зелеными бархатными подушками. Словом, это было маленькое небо; недоставало только небожителя. Но и его собственно не недоставало: он был тоже здесь налицо, но только я его сразу не рассмотрел.

Глава двадцатая

– Ах, приношу вам сто извинений! – услышал я почти из-за своего собственного плеча и, обернувшись, увидел пред дамским туалетом, какой привык видеть в спальне моей матери... как вам сказать, кого я увидел? Иначе не могу выразиться, как увидел уже самого настоящего купидона. Увидел и... растерялся, да и было отчего. Вы, конечно, помните, что я должен был встретить здесь *капитана*; но представьте себе мое удивление, когда я увидел пред туалетом какое-то голубое существо – таки все-все сплошь голубое; голубой воротник, голубой сюртук, голубые рейтузы – одним словом, все голубое, с легкою белокурою головкой, в белом спальном дамском чепце, из-под которого выбивались небольшие золотистые кудерьки в бумажных папильотках. Я просто никак не мог себе уяснить, что это – мужчина или женщина. Но в это время купидон обернул ко мне свою усыпанную папильотками голову, и я увидел круглое, нежное, матовое личико с нежным пушком на верхней губе, защипнутым у углов уст вверх тоненькими колечками. За этою работой, за завертыванием усиков, я собственно и застал моего купидона.

– Приношу вам пятьсот извинений, что я вас принимаю за туалетом: я спешу сегодня в наряд, – заговорил купидон, – и у меня есть несколько минут на все сборы; но эти минуты все к вашим услугам. Мне сказали, что вы хотите занять комнату у сестры Маши? Это прекрасная комната, вы будете ею очень довольны.

– Да, – отвечал я, – мне нужна комната, и мне сказали...

– Кто вам сказал?

– Не знаю... какая-то старушка...

– Ах, это, верно, Авдотьюшка; да, у сестры прекрасная комната; сестра моя – это не из барышей отдает, она недавно овдовела, так только чтобы не в пустой квартире жить. Вам будет прекрасно: там тишина невозмутимая. Скучно, может быть?

– Я, – говорю, – этого не боюсь.

– А не бойтесь, так и прекрасно; а соскучитесь – пожалуйста во всякое время ко мне, я всегда рад. Вы студент? Я страшно люблю студентов. Сам в университете не был, но к студентам всегда чувствую слабость. Да что! Как и иначе-то? Это наша надежда. Молодой народ, а между тем у них всё идеи и мысли... а притом же вы сестрин постоялец, так, стало быть, все равно что свой. Не правда ли?

Я очень затруднялся отвечать на этот поток красноречия, но купидон и не ждал моего согласия.

– Эй, Клим! – крикнул капитан. – Клим!

Он при этом ударил два раза в ладони и крикнул:

– Трубочку поскорее, трубочку и шоколад... Две чашки шоколаду... Вы выкушаете? – спросил он меня и, не дождавшись моего ответа, добавил: – Я чаю и кофе терпеть не могу: чай действует на сердце, а кофе – на голову; а шоколад живит... Приношу вам тысячу извинений, что мы так мало знакомы, а я позволяю себе шутить.

С этими словами он схватил меня за колено, приподнялся, отодвинул немного табуретку и, придвинувшись к зеркалу, начал тщательно вывертывать из волос папильотки.

– Приношу вам две тысячи извинений, что задерживаю вас, но все это сейчас кончится... мне и самому некогда... Клим, шоколаду!

Клим подал шоколад.

Я поблагодарил.

– Нет, пожалуйста! У нас на Руси от хлеба-соли не отказываются. В Англии сорок тысяч дают, чтоб было хлебосольство, да нет, – сами с голоду умирают, а у нас отечество кормит. Извольте кушать.

Делать было нечего, я принял чашку.

Глава двадцать первая

– Вон ваша комната-то, всего два шага от меня, – заговорил капитан. – Видите, на извозчика ко мне уж немного истратите. Вон видите тот флигель, налево?

Я приподнялся, взглянул в окно и отвечал, что вижу.

– Нет, вы подойдите, пожалуйста, к окну.

– Да я и отсюда вижу.

– Нет, вы подойдите; тут есть маленький фокус. Видите – прекрасный флигелек. У нас, впрочем, и вообще весь двор в порядке. Прежде этого не было. Хозяйка была страшная скареда. Я здесь не жил; сестра моя здесь прежде поселилась; я к ней и хаживал. Хозяйка, вот точно так же как сестра теперь, лет пять тому назад овдовела. Купчиха ничего себе – эдакая всегда довольно жантильная была, с манерами, потому что она из актрис, но тяготилась и вдовством, и управлять домом; а я, как видите, люблю жить чисто, – не правда ли? Что? Я ведь, кажется, чисто живу? Правда-с?

– Да, – отвечаю я, – правда.

– Кажется, правда, и это с самого детства. Познакомьтесь с сестрой, она вам все это расскажет; я всегда любил чистоту и еще в кадетском корпусе ею отличался. Кто там что ни говори, а военное воспитание... нельзя не похвалить его; разумеется, не со всех сторон: с других сторон университет, может быть, лучше, но с другой стороны... всегда щеточка, гребенка, маленькое зеркальце в кармане, и я всегда этим отличался. Я, бывало, приду к сестре, да и говорю: «Как это у вас все грязно на дворе! Пять тысяч извинений, говорю, приношу вам, но просто в свинушнике живете». Хозяйка иногда хаживала к сестре... ну, и... сестра ей шутила: «вот, говорит, вам бы какого мужа». Шутя, конечно, потому что моя сестра знает мои правила, что я на купчихе не женюсь, но наши, знаете, всегда больше женятся на купчихах, так уж те это так и рассчитывают. Однако же я совсем не такой, потому что я к этой службе даже и неспособен; но та развесила уши. Ну куда же, скажите пожалуйста, мне жениться – приношу вам двадцать тысяч извинений, – да еще жениться на купчихе?.. Нет, говорю, я жениться не могу, но порядок действительно моя пассия, и домом управлять я согласен. Она мне и предложила вот эту квартиру. Квартира, конечно, очень не велика. Передняя, что вы видели, зал, да вот эта комната; но ведь с одного довольно, а денщик мой в кухне; но кухнюшку выправил, так что не стыдно; Клим у меня не так, как у других. Вот вы его видели; спросите его потом когда-нибудь, пожалуется ли он на меня? Клим! – крикнул он громко. – Клим!

В дверях показался серый Клим.

– Доволен ты мной или нет? Не бойся меня, отвечай им так, как бы меня здесь не было.

– Много доволен, ваше благородие, – отвечал денщик.

– Ах ты, скотина!

Постельников самодовольно улыбнулся и, махнув денщику рукою, добавил:

– Ну, и только, и ступай теперь к своему месту, готовь шинель. На меня никто не жалуется, – продолжал капитан, обратясь ко мне. – Я всем, кому я что могу сделать, – делаю. Отчего же, скажите, и не делать? Ведь эгоизм, – я приношу вам сто тысяч извинений, – я ваших правил не знаю, но я откровенно вам скажу, я терпеть не могу эгоистов.

Глава двадцать вторая

Поток этих слов был сплошной и неудержимый и даже увлекательный, потому что голос у Леонида Григорьевича был необыкновенно мягкий, тихо вкрадчивый, слова, произносимые им, выходили какие-то кругленькие и катились, словно орешки по лубочному желобку. На меня от его говора самым неприличным образом находил неодолимейший магнетический сон. Под обаянием этого рокота я даже с удовольствием сидел на мягком кресле, с удовольствием созерцал моего купидона и слушал его речи, а он продолжал развивать передо мной и свои мысли, и свои папильотки.

– Хозяйка, – продолжал он, – живет тут внизу, но до нее ничто не касается; всем управляю я. И сестра теперь тоже, и о ней надо позаботиться. У меня, по правде сказать, немалая опека, но я этим не тягочусь, и вы будьте покойны. Вы сколько платили на прежней квартире?

Я сказал, сколько я платил.

– О, мы устроим вас у сестры даже гораздо дешевле и, верно, гораздо лучше. Вы студент, а в той комнате, где вы будете жить, все даже располагает к занятиям. Я оттуда немножко отдаляюсь, потому что я жизнь люблю, а сестра теперь, после мужниной смерти, совсем, как она говорит, «предалась Богу»; но не суди – да не сужден будешь. Впрочем, опять говорю, там бесов изгоняют ладаном, а вы если когда захотите посмотреть бесов, ко мне милости просим. Я, знаете, живу молодым человеком, потому что юность дважды не приходит, и я вас познакомлю с прекрасными дамочками... я не ревнив; нет, что их ревновать!

Он, махнув рукой, развернул последнюю папильотку и, намочив лежавшее возле него полотенце одеколоном, обтер себе руки и заключил:

– А теперь прошу покорно в вашу комнату. Времени уже совсем нет, а мне еще надо завернуть в одно местечко. Клим! – громко крикнул он, хлопнув в ладоши, и, пристегнув аксельбанты, направился чрез гостиную.

Я шел за ним молча, не зная на что и для чего я все это делал. В передней стоял Клим, держа в руках серую шинель и фуражку. Хозяин мой взял у него эту шинель из рук и молча указал ему на мою студенческую шинель; я торопливо накинул ее на плечи, и мы вышли, прошли через двор и остановились у двери, обитой уже не зеленою сияющею клеенкой, а темным, толстым, серым сукном. Звонок здесь висел на довольно широком черном ремне, и когда капитан потянул за этот ремень, нам послышался не веселый, дребезжащий звук, а как бы удар маленького колокола, когда он ударяет от колеблемой ветром веревки. Прошла минута, нам никто не отворял, Постельников снова дернул за ремень. Снова раздался заунывный звук, и дверь неслышным движением проползла по полу и распахнулась. Пред нами стояла старушка, бодренькая, востроносенькая, покрытая темным коричневым платочком. Капитан осведомился, дома ли сестра и есть ли у нее кто-нибудь.

– Есть-с, – отвечала старушка.

– Монахи?

– Отец Варлаамий и Евстигней с Филаретушкой.

– Ну, вот и прекрасно! Пусть они себе там и сидят. Скажи: постояльца рекомендую знакомого. Это необходимо, – добавил он мне шепотом и тотчас же снова начал вслух: – Вот видите, налево, этот коридор? там у сестры три комнаты; в двух она живет, а третья там у нее образная; а это вот прямо дверь – тут кабинет зятев был; вот там в нее и ход; а это и есть ваша комната. Смотрите, – заключил он, распахивая передо мной довольно высокие белые двери в комнату, которую действительно можно было назвать прекрасною.

Глава двадцать третья

Комната, предлагаемая мне голубым купидоном, была большой наугольный покой в два окна с одной стороны, и в два – с другой. Весь он выходил в большой густой сад, деревья которого обещали весной и летом много прохлады и тени. Стены комнаты были оклеены дорогими коричневыми обоями, на которых миллион раз повторялась одна и та же буколическая сцена между пастухом и пастушкой. В углу стоял большой образ, и пред ним тихо мерцала лампада. Вокруг стен выстроилась тяжелая мебель красного дерева с бронзой, обитая темно-коричневым сафьяном. Два овальные стола были покрыты коричневым сукном; бюро красного дерева с бронзовыми украшениями; дальше письменный стол и кровать в алькове, задернутая большим вязаным ковром; одним словом, такая комната, какой я никогда и не думал найти за мои скромные деньги. Неудобств, казалось, никаких.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.